

Ледоход — текст 2 из 2

На реке, против города, семеро плотников спешно чинили ледорез, ободранный за зиму слободскими мещанами на топливо.

Весна запоздала в том году — юный молодец Март смотрел Октябрем; лишь около полуден — да и то не каждый день — в небе, затканном тучами, являлось белое — по-зимнему — солнце и ныряло в голубых проталинах между туч, поглядывая на землю неприветливо и косо.

Уже была пятница страстной недели, а капель к ночи намерзала синими сосулями в пол-аршина длиною; лед на реке, оголенной от снега, тоже был синеватый, как зимние облака.

Работали плотники — а в городе печально и призывно пела медь колоколов. Головы рабочих поднимались вверх, глаза задумчиво тонули в сероватой мгле, обнявшей город, и часто топор, занесенный для удара, нерешительно, на секунду останавливался в воздухе, точно боясь разрубить ласковый звон.

Там и тут на широкой полосе реки криво торчали сосновые ветви, обозначая дороги, полыньи и трещины во льду; они поднимались вверх, точно руки утопающего, изломанные судорогами.

Томительной скукой веет от реки: пустынная, прикрытая ноздреватой коростой, она лежит безотрадно прямою дорогой во мглистую область, откуда уныло и лениво дышит сырой, холодный ветер.

...Староста Осип, чистенький и складный мужичок, с правильной серебряной бородкой, аккуратно завитой в мелкие кольца на розовых щеках и гибкой шее, — всегда и всюду заметный, староста Осип покрикивает:

— Шевелись поживей, курицыны дети!

И обращается ко мне, насмешливо внушая:

— Наблюдающий, — ты чего в небе ковыряешь тупым твоим носом? Ты для какого дела приставлен, спросить тебя? Ты — от подрядчика, от Василь Сергеича? Стало быть — подобат тебе наяривать нас — работай живо, такой-сякой народ! Вот, для какого подвигу ты налажен, а ты — на свое дело моргаешь, дите мое, горький сухостой! Моргать тебе не положено, ты гляди в оба да покрикивай, коли тебя вроде десятника до нас приспособили... ты — команду, кукушкино яичко!

Он снова кричит на ребят:

— Не зевай! Лешие, — надобно сегодня конец делу положить али нет?

Сам он — первейший лентяй артели. Превосходно знает свое дело, умеет работать ловко, споро, со вкусом и увлечением, но — не любит утруждать себя и постоянно рассказывает волшебные истории. Как раз в разгар работы, когда люди вопьются в нее и работают молча, сосредоточенно, вдруг плененные желанием сделать все ладно и гладко, — Осип заводит журчащим голосом:

— А вот, братцы мои, был случай...

Две-три минуты люди как будто не слушают его, самозабвенно тешут, строгают, рубят, а мягонький тенорок мечтательно течет и вьется, опутывая, связывая внимание людей. Голубые ясные глаза Осипа сладко прищурены, он покручивает пальцами курчавую бородку и, чмокая от удовольствия, нижеет слово за словом...

— Поймал он этого линя, положил в пещер, идет лесом — думает: «А и будет же уха у меня...» Только вдруг — не знай откуда — кричит голос женской, тонкой: «Елеся-а, Елеся-а...»

Длинный костлявый мордвин Ленька, по прозвищу Народец, — молодой парень с маленькими изумленными глазками, — опустил топор и стоит, открыв рот.

— А из пещера отвечают басищем, густо: «Здесь-а!..» И в ту самую минуту в пещере — хлопбысь, линь оттедова — прыг и пошел, пошел назад, в омут свой...

Старик солдат Санявин, угрюмый пьяница, страдающий одышкой и давно чем-то обиженный на всю жизнь, хрипит:

— Как это он, линь, пошел посуху, ежели он — рыба?

— А говорить рыбе назначено? — ласковенько спрашивает Осип.

Мокей Будырин, мужик серый, с собачьим лицом — скулы и челюсти выдвинуты вперед, а лоб запрокинут, — человек молчаливый и неприметный, не торопясь выпускает через нос три любимые свои слова:

— Это совсем верно...

Каждый раз, когда рассказывают что-нибудь чудесное, страшное, грязное или злое, — он негромко, но непоколебимо уверенно отзывается:

— Это совсем верно...

И словно трижды бьет меня в грудь жестким тяжелым кулаком.

Работа встала, потому что Яков Боев, косноязычный и кособокий, тоже хочет рассказать что-то рыбье и уже начал, но ему никто не верит, смеются над его измятою речью; он — божится, ругается, сердито сует долотом в воздух и, захлебываясь злой слюною, кричит, на смех всем:

— Один — чего ни ври — принимают, а как я вам — правду, — ржете, галманы, пострели вас в душу...

Все бросили работу и шумят, размахивая пустыми руками; тогда Осип снимает шапку, обнажая благообразную серебряную голову, с плешью на темени, и строго кричит:

— Будя, эй! Позвонили, отдохнули, и — ладно!

— Сам завел, — хрипит солдат, поплеывая на ладони.

Осип пристаёт ко мне:

— Наблюдающий-и...

Мне кажется, что он сбивает людей с работы своими рассказами, имея какую-то цель, но я не понимаю — хочет ли он болтовней прикрыть свою лень, или дать людям отдых? Перед подрядчиком Осип держится льстиво, низкопоклонно, — «ломает дурака» перед ним и каждую субботу умеет выклянчить у него «на чайшко» для артели.

Вообще он человек «артельный», но старики его не любят, считают шутом, бездельником и относятся к нему неуважительно, да и молодежь, любя слушать его болтовню, смотрит на него несерьезно, с недоверием, плохо скрытым и часто злым.

Мордвин, парень грамотный, с которым я говорю иногда «по душам», однажды, на мой вопрос — что за человек Осип, сказал, усмехаясь:

— Не знай... пес его знает... так себе — ничего...

И, подумав, добавил:

— Михайло, который помер, резкий был мужик, умный, — так он раз лаялся с им, с Осипом-то, да и говорит: «Али, говорит, ты человек? Работник в тебе подох, а хозяин — не родился, так, говорит, ты и будешь всю жизнь болтаться на углу, как забытый отвес на нитке...» Вот это, поди-ка, верно про него...

И еще подумав, мордвин беспокойно договорил:

— А так он ничего, добрый человек...

У меня глупейшая позиция среди этих людей: пятнадцатилетний парень, я приставлен подрядчиком — записывать расход материала, следить, чтобы плотники не воровали гвоздей, не таскали в кабак досок. Гвозди они воруют, нимало не стесняясь моим присутствием, и все усердно показывают мне, что я на работе среди них — человек лишний, неприятный. И если кому-нибудь представляется случай незаметно задеть меня доскою или иным способом причинить мне маленькую обиду — они это делают очень умело.

Мне с ними неловко, стыдно; я хочу сказать им что-то, что помирilo бы их со мною, но не нахожу нужных слов, и меня давит угрюмое чувство моей ненужности.

Каждый раз, когда я записываю в книжку количество взятого материала, — Осип не торопясь подходит и спрашивает:

— Нарисовал? Ну-кошь, покажь...

Смотрит на запись прищуря глаза и говорит неопределенно:

— Мелко пишешь...

Он умеет читать только по печатному, пишет тоже печатными буквами церковного устава — гражданская пропись непонятна ему.

— Это — корытцем-то — какое слово?

— Добро.

— Добро-о! Ишь петля какая... А что написано строкой этой?

— Досок вершковых, девятиаршинных, пять.

— Шесть.

— Пять.

— Как же пять? Вот, солдат перерезал одну...

— Это он напрасно, надобности не было...

— Как же не было? Он половинку в кабак снес...

Спокойно глядя мне в лицо голубыми, как васильки, глазами, с веселой усмешечкою в них, он навивает на палец колечки бороды и неотразимо бесстыдно говорит:

— Рисуй шесть, право! Ты гляди, кукушкино яичко, — мокро, холодно, работенка тяжелая — надобно людям побаловать душеньку, винцом-то ее обогреть? Ты — не строжись, бога строгостью не подкупишь...

Говорит он долго, ласково, кудреватое, слова сыплются на меня, точно опилки, я как бы внутренне слепну и молча показываю ему переправленную цифру.

— Ну, вот — это верно! И цифра — красивше, вон какой купчихой сидит, пузатенька, добренька...

Я вижу, как победоносно он рассказывает плотникам о своем успехе, знаю, что они все презирают меня за уступчивость, мое пятнадцатилетнее сердце обиженно плачет, а в голове вертятся скучные, серые мысли:

«Все это странно и глупо. Почему он уверен, что я снова не переправлю 6 на 5 и не скажу подрядчику, что они пропили доску?»

Однажды они украли два фунта пятивершковых костылей и железные скобы.

— Слушай, — предупредил я Осипа, — я это запишу!

— Вали! — согласился он, играя седыми бровями. — Что, в сам-деле, за баловство? Вали, рисуй их, маминых детей...

И закричал ребятам:

— Эй, шалыганы, костыли и скобы на штраф вам записаны!..

Солдат угрюмо спросил:

— Почто?

— Проштрафились, стало быть, — спокойно пояснил Осип.

Плотники заворчали, косо поглядывая на меня, а у меня не было уверенности, что я сделаю то, чем пригрозил, а если сделаю — так это будет хорошо.

— Уйду от подрядчика, — сказал я Осипу, — ну вас всех к чертям! С вами вором станешь.

Осип подумал, погладил бороду, сел рядом со мною плечом и сказал тихонько:

— Это — правильно!

— Что?

— Надо уйти. Какой ты десятник, какой приказчик? В должностях этих надобно понимать, что есть имущество, собачий характер надобен тут, чтоб

охранять хозяиново, как свою родную шкуру, мамино наследство... А ты для этого дела — молод пес, ты не чувствуешь, чего имущество требует. Если бы сказать Василь Сергеичу, как ты нам мирволишь, — он бы те в тую самую одну минуту по шее, — вполне решительно! Потому ты для него — не к доходу, а на расход, человек же должен служить доходно хозяину — понял?

Свернув папиросу, он дал ее мне.

— Покури, легче будет в мозге. Кабы у тебя, крандаш, не такой совкий и спорный характер был — я бы тебе-тко сказал: иди в монахи! Ну, — характер у тебя для этого не подходящий, топорный характер, неотес ты в душе, ты, буде, и самому игумну не сдашь. С эдаким характером в карты играть невозможно! А монах — он наподобие галки: чье клюет — не знает, корни дела его не касаются, он зерном сыт, а не корнем. Все это я тебе говорю от сердца, как вижу, что человек ты чужой делам нашим — кукушкино яичко в не ее гнезде...

Снял шапку — он это делал всегда, когда хотел сказать что-либо особенно значительное, — поглядел в серое небо и громко, покорно выговорил:

— Дела наши — воровские пред господом, и спасенья нам не буде от него...

— Это совсем верно, — отозвался Мокей Будырин, точно кларнет.

С той поры кудрявый, среброголовый Осип с ясными глазами и сумеречной душою стал мне приятно интересен, между нами зародилось нечто подобное дружбе, но я видел, что доброе отношение ко мне чем-то смущает его: при других он на меня не смотрит, васильковые зрачки светлы и пусты, они суетливо бегают, дрожат, и губы человека кривятся лживо, неприятно, когда он говорит мне:

— Эй, поглядывай в оба, оправдывай хлеб, а то вон — солдат гвозди жует, прорва...

А один на один со мною он говорит поучительно и ласково, в глазах его светится-играет умненькая усмешечка, и смотрят они голубыми лучами прямо в мои глаза. Слова этого человека я слушаю внимательно, как верные, честно взвешенные в душе, хотя иногда он говорит странно.

— Надо быть хорошим человеком, — сказал я однажды.

— А — конечно! — согласился он, но тотчас же, усмехнувшись, спрятал глаза, тихонько говоря: — Однако — как понимать хорошего человека? Я так думаю, что людям-то наплевать на хорошестъ, на праведность твою, ежели она — не к добру им; нет, ты окажи им внимание, ты всякому сердцу в ласку будь,

побалуй людей, потешь... может, когда-нибудь и тебе это хорошо обернется! Конечно — споров нету — очень приятное дело, будучи хорошим человеком, на свою харю в зеркало глядеть... Ну, а людям — я вижу — все едино как: жулик ты али святой — только до них будь сердечней, до них добрее будь... Вот оно — что всем надо!..

Я очень внимательно присматриваюсь к людям, мне думается, что каждый человек должен возвести и возводит меня к познанию этой непонятной, запутанной, обидной жизни, и у меня есть свой беспокойный, неумолкающий вопрос:

«Что такое человечья душа?»

Мне кажется, что иные души построены, как медные шары: укрепленные неподвижно в груди, они отражают все, что касается их, одной своей точкой, — отражают неправильно, уродливо и скучно. Есть души плоские, как зеркала, — это все равно как будто нет их.

А в большинстве своем человечьи души кажутся мне бесформенными, как облака, и мутно-пестрыми, точно лживый камень опал, — они всегда податливо изменяются, сообразно цвету того, что коснется их.

Я не знаю, не могу понять, какова душа благообразного Осипа, — неуловима она умом.

Об этих делах я и думаю, глядя за реку, где город, прилепившийся на горе, поет колоколами всех колоколен, поднятых в небо, как белые трубы любимого мною органа в польском костеле. Кресты церквей — точно тусклые звезды, плененные сереньким небом, они — скучая — сверкают и дрожат, как бы стремясь вознестись в чистое небо за серым пологом изодранных ветром облаков; а облака бегут и стирают тенями пестрые краски города, — каждый раз, когда из глубоких голубых ям, между ними, упадут на город лучи солнца, обольют его веселыми красками, они тотчас, закрыв солнце, побегут быстрее, сырые тени их становятся тяжелее, и все потускнеет, лишь минуту подразнив радостью.

Дома города — точно груды грязного снега, земля под ними черная, голая, и деревья садов — как бугры земли, тусклый блеск стекол в серых стенах зданий напоминает о зиме, и надо всем вокруг тихо стелется разымчивая грусть бледной северной весны. Мишук Дятлов, молодой белобрысый парень, с заячьей губою, широкий, нескладный, пробует запеть:

Она пришла к нему поутру,
А он скончался в тую ночь...

— Эй ты, курвин сын! — кричит на него солдат. — Али забыл, какой седни день?

Боев тоже сердится — грозит Дятлову кулаком и свистит:

— С-собачья душа!

— Народ у нас лесной, долголетний, жилистой, — говорит Осип Будырину, сидя верхом на вершине ледореза и прищуренным глазом измеряя откос. — Выпусти конец бруса на вершок левей — так!.. А ежели просто сказать — дикой народ! Однова — едет алхирей, они — к нему, обкружили, пали на коленки, плачутся: заговори-де нам, преосвященное владыко, волков, одолели нас волки! Кэ-эк он их — «Ах, вы, говорит, православные христиане, а? Да я, говорит, всех вас строжайшему суду предам!» Очень изгневался, плюет даже в морды им. Старенький такой был, личность добрая, глазки слезятся...

Сажены на двадцать ниже ледорезов матросы и босяки окалывают лед вокруг барж; хряско бьют пешни, разрушая рыхлую, серую корку реки, маячат в воздухе тонкие шесты багров, проталкивая под лед вырубленные куски его; плещет вода; с песчаного берега доносится говор ручьев. У нас шаркают рубанки, свистит пила, стучат топоры, загоняя железные скобы в желтое, гладко выструганное дерево, — и во все звуки втекает колокольный звон, смягченный расстоянием, волнуящий душу. Кажется, что серый день всею своею работою служит акафист весне, призывая ее на землю, уже обтаявшую, но голую и нищую...

Кто-то орет простуженным голосом:

— Немца-а позо-ови-и! Народу не хвата-ат...

С берега откликаются:

— Где он?

— В кабаке, гляди-и...

Голоса плывут в сыром воздухе тяжело, растекаются над широкой рекою уныло.

Работают торопливо, горячо, но плохо, кое-как; всех тянет в город, в баню и в церковь, особенно беспокоился Сашок Дятлов, такой же, как брат, белобрысый, точно в щелоке варенный, но — кудрявый, складный и ловкий. То и дело поглядывая вверх по течению, он тихонько говорит брату:

— Чу, будто трешшит?

Ночью была «подвижка» льда, речная полиция уже со вчерашнего утра не пускает на реку лошадей, по линейкам мостков, точно бусы, катятся редкие пешеходы, и слышно, как доски, прогибаясь, смачно шлепают по воде.

— Потрескивает, — говорит Мишук, мигая белыми ресницами.

Осип, глядя из-под ладони на реку, обрывает его:

— Это стружка в башке у тебя сохнет-скрипит! Работай, знай, ведьмин сын! Наблюдающий — погоняй их, что ты в книжку воткнулся?

Работы оставалось часа на два, уже весь горб ледореза обшит желтым, как масло, тесом, осталось только наложить толстые железные связи. Боев и Санявин вырезали гнезда для них, но — не угодили, вышло узко — полосы не входили в дерево.

— Мордва слепокурая, — кричал Осип, постукивая себя ладонью по шапке. — Али это работа?

Вдруг, откуда-то с берега, невидимый голос радостно завыл:

— По-оше-ол... о-го-го-о!

И как бы сопровождая этот вой, над рекою потек неторопливый шорох, тихий хруст; лапы сосновых вешек затрепетали, словно хватаясь за что-то в воздухе, и матросы, босяки, взмахивая баграми, шумно полезли по веревочным трапам на борта барж.

Было странно видеть, как много явилось на реке людей: они точно выпрыгнули из-подо льда и теперь метались взад-вперед, как галки, испугнутые выстрелом, прыгали, бежали, тащили доски и шесты, бросали их и снова хватали.

— Собирай струмент! — крикнул Осип. — Живо, так вашу... на берег!

— Вот те и светло Христово воскресенье! — горестно воскликнул Сашок.

Казалось, что река неподвижна, а город вздрогнул, покачнулся и вместе с горою под ним тихо всплывает вверх по реке. Серые песчаные осыпи, в десятке сажен перед нами, тоже зашевелились и потекли, отдаляясь от нас.

— Беги, — крикнул Осип, толкнув меня, — чего разинул рот?

Жуткое ощущение опасности ударило в сердце; ноги, почувствовав, что лед уходит из-под них, как-то сами собою вскинулись, понесли тело на песок, где торчали голые прутья ивняка, обломанные зимними вьюгами, — там уже

валялись Боев, солдат, Будырин и оба Дятловы. Мордвин бежал рядом со мною и сердито ругался, а Осип — шагал сзади, покрикивая:

— Не лай, Народец...

— Да ведь как же, дядя Осип...

— Так же все, как было.

— Застряли мы тут суток на двое...

— И посидишь.

— А праздник?

— Без тебя отпразднуют в сем году...

Солдат, сидя на песке, раскуривал трубку и хрипел:

— Струсили... три пятка сажен места до берегу, а вы — бежать сломя голову...

— Ты первый побег, — сказал Мокей.

Но солдат продолжал:

— А чего испугались? Христос-батюшко и то помер...

— Чать, он воскрес опосля того, — обиженно пробормотал мордвин, а Боев заорал на него:

— Ты — молчи, щенок! Твое дело рассуждать про то? Воскрес? Седни — пятница, а не воскресение!

В голубой пропасти между облаков вспыхнуло мартовское солнце, лед засверкал, смеясь над нами. Осип поглядел из-под ладони на опустевшую реку и сказал:

— Встала... Только это — ненадолго...

— Отрезало нас от праздника, — угрюмо проговорил Сашок.

Безбородое, безусое лицо мордвина, темное и угловатое, как неочищенная картофелина, сердито сморщилось, он часто мигал и ворчал:

— Сиди тут... Ни хлеба, ни денег... У людей — радость, а мы... Жадностям служим, как собаки все одно...

Осип, не отводя глаз от реки и, видимо, думая о чем-то другом, говорит, словно сквозь сон:

— Тут вовсе не жадности, а — надобности! Быки-ледорезы — для чего? Охранять ото льда баржи и все такое. Лед — глупый, он навалится на караван, и — прощай имущество...

— А — наплевать... наше оно, что ли?

— Толкуй с дураком...

— Чинили бы раньше...

Солдат скорчил лицо в страшную гримасу и крикнул:

— Цыц, мордва народская!

— Встала, — повторил Осип. — М-да...

На караване орали матросы, а с реки веяло холодом и злою, подстерегающей тишиной. Узор вешек, раскинутый по льду, изменился, и все казалось измененным, полным напряженного ожидания.

Кто-то из молодых парней спросил, тихонько и робко:

— Дядя Осип — как же?

— Чего? — дремотно отозвался он.

— Так нам и сидеть тут?

Боев, явно издеваясь, гнусаво заговорил:

— Отлучил господь вас, ёрников, от святого праздника своего, что-о?

Солдат поддержал товарища — вытянул руку с трубкой к реке и, посмеиваясь, бормотал:

— Охота в город? Идите! И лед пойдет. Авось утопнете, а то — в полицию возьмут... на праздник-то — хорошо!..

— Это совсем верно, — сказал Мокей.

Солнце спряталось, река потемнела, а город стало видно ясней — молодежь уставилась на него сердитыми и грустными глазами и замолчала, замерла.

Мне было скучно и тяжело, как всегда бывает, когда видишь, что все вокруг тебя думают разное и нет единого желания, которое могло бы связать людей в целостную, упрямую силу. Хотелось уйти от них и шагать по льду одному.

Осип, точно вдруг проснувшись, встал на ноги, снял шапку и, перекрестясь на город, сказал очень просто, спокойно и властно:

— Ну-кося, ребята, айда с богом...

— В город? — воскликнул Сашок, вскакивая.

Солдат, не двигаясь, уверенно заявил:

— Потонем!

— Тогда — оставайся.

И, оглянув всех, Осип крикнул:

— Ну, шевелись, живо!

Все поднялись, сбились в кучу; Боев, поправляя инструменты в пещере, заныл:

— Сказано — иди, стало быть — надо идти! Кем приказано — того и ответ...

Осип словно помолодел, окреп: хитровато-ласковое выражение его розового лица слиняло, глаза потемнели, глядя строго, деловито; ленивая, развалистая походка тоже исчезла — он шагал твердо, уверенно.

— Каждый бери по доске и держи ее поперек себя — в случае — не дай бог — провалится кто, — концы доски на лед лягут — поддержка! И трещины переходить... Вербка — есть? Народец, дай-кося мне ватерпас... Готовы? Ну — я вперед, а за мной — кто всех тяжелее? Ты, солдат! Потом — Мокей, мордвин, Боев, Мишук, Сашок, — Максимыч всех легче, он позади... Сымай шапки, молись богородице! Вот и солнышко-батюшко встречу нам...

Дружно обнажились лохматые, седые и русые головы, солнце глянуло на них сквозь тонкое белое облачко и спряталось, точно не желая возбуждать надежд.

— Айда! — сухо, новым голосом сказал Осип. — С богом! Глядите на ноги мне. Не напирай в спину, держись друг ко другу не ближе сажня, а чем дале — то и лучше! Пошел, детки!

Сунув шапку за пазуху, держа в руке ватерпас, Осип, как-то осторожно и ласково шаркая ногами, сошел на лед и тотчас, за спиной у него, на берегу, раздался отчаянный крик:

— Ку-уда, бараны, ма-а...

— Шагай, не оглядывайсь! — звонко командовал вожатый.

— Наза-ад, дьяво-олы...

— Айда, ребята, бога помня! В гости на праздник он нас не позовет...

Свистел полицейский свисток, а солдат громко ворчал:

— Во-от, ерои, так вашу... Затеяли дело! Теперь депеша будет дана тому берегу в полицию... Коли не утопнем — в часть, клопам нас... Я на себя ответ не беру...

Бодрый голос Осипа вел людей за собою, точно на веревке:

— Гляди под ноги зорче!..

Шли наискось, против течения, и мне, заднему, хорошо видно было, как маленький аккуратный Осип, с белой, точно у зайца, головою, ловко скользит по льду, почти не поднимая ног. За ним, гуськом, как бы нанизанные на невидимую нить, тянутся, покачиваясь, шесть темных фигур, иногда рядом с ними явятся тени их, лягут под ноги им и стелются по льду. Головы опущены, точно люди идут с горы и боятся упасть, оступившись.

Сзади кричат все гуще — видимо, сбежался народ большою толпой, слов уже нельзя разобрать, слышен только неприятный гул.

Это осторожное шествие становится для меня механической, скучной работой; я привык ходить быстро и теперь погружаюсь в то полусонное настроение, когда душа как бы пустеет, перестаешь думать о себе, уходишь от себя и в то же время все видишь особенно четко, слышишь особенно ясно. Под ногами синевато-серый, свинцовый лед, изъеденный водою, его рассеянный блеск ослепляет глаза. Кое-где лед лопнул, выгорбился, истерт движением в мелкие куски, лежит кучами, ноздреватый, как пемза, и острый, как битое стекло. Синие трещины, холодно улыбаясь, ловят ногу. Шлепают широкие подошвы, надоедно звучат голоса Боева и солдата, — оба они — как две дудочки в одних устах.

— Я ответа не беру...

— Конечно, и я...

— Одному дозволено распоряжаться, а другой, может, в тыщу раз умнее...

— Разве умом живут у нас? У нас — глоткой живут все...

Осип заткнул полы полушубка за пояс, его ноги, в серых штанах солдатского сукна, шагают легко и гибко, точно пружины. Идет он так, как будто перед ним все время вертится кто-то, видимый только ему, вертится и мешает идти прямо, кратчайшим путем, а Осип борется с ним, стараясь обойти его, ускользнуть, подается вправо и влево, иногда круто поворачивает назад и так все время танцует, описывая по льду петли и полукружия. Голос его звучит немолчно, певуче, и очень приятно слышать, как хорошо сливается он со звоном колоколов...

Уже подходили к середине четырехсотсаженной полосы льда, когда сверху реки зашуршало зловещим шорохом, в ту же минуту лед поплыл из-под ног у меня, я покачнулся, и, не устояв, припал на колени, удивленный. Но тотчас же, как только я взглянул вверх по реке, испуг схватил меня за горло, лишил голоса, потемнил зрение — серая корка льда ожила, горбилась, на ровной поверхности вспухали острые углы, в воздухе растекался странный хруст — точно кто-то тяжелою ногой шел по битому стеклу.

С тихим свистом около меня струилась вода, трещало дерево, взвизгивая, как живое, орали люди, сбиваясь кучей, и в глухом жутком гуле, размешивая его, звенел голос Осипа:

— Разойдись... расходишься — держись порознь, божьи дети... Пошла матушка, пошла-а! Веселей, ребятки! Вот — пошла-а...

Он прыгал, словно на него осы напали, и, держа саженный ватерпас, как ружье, тыкал им вокруг себя, точно сражаясь с кем-то, а мимо него, вздрагивая, плыл город. Лед подо мною заскрежетал, мелко ломаясь, на ноги мне хлынула вода, я вскочил, слепо бросился к Осипу.

— Куда? — замахнувшись ватерпасом, крикнул он. — Стой, черт!

Показалось, что это не Осип, — лицо странно помолодело, все знакомое стерлось с него, голубые глаза стали серыми, он словно вырос на пол-аршина. Прямой, как новый гвоздь, плотно сжав ноги, вытягиваясь вверх, он кричал, широко открыв рот:

— Не крутись, не сбивайся кучей — башки поразобью!

И снова замахнулся на меня ватерпасом.

— Ты — куда?

— Потонем, — тихонько сказал я.

— Цыц! Молчи...

Но, оглянув меня, он прибавил тише и мягче:

— Потонуть и дурак сумеет, а ты вот выберись... ты — вылезь!

И снова залился, закричал ободряющие слова, выгибая грудь, закинув голову.

Лед потрескивал и хрустел, неспешно ломаясь, нас медленно сносило мимо города; какая-то силища проснулась в земле и растягивает берег; часть его — ниже нас — неподвижна, а та, что против, тихо отходит вверх по реке, и скоро земля разорвется.

Это жуткое, медленное движение лишало чувства связи с землею: все уходило, щема грудь тоской, ослабляя ноги. В небе тихо плыли красные облака, изломы льда, отражая их, тоже краснели, точно напрягаясь, чтобы достичь меня. Ожила вся огромная земля к весенним родам, потягивается, высоко вздымая лохматую влажную грудь, хрустят ее кости, и река, в мощном мясе земли, — словно жила, полная густой, кипучей крови.

Угнетало обидное ощущение своей малости и бессилия в этом уверенном, спокойном движении масс, а в душе, — на обиде, — растет, разгорается дерзкая человечья мечта: протянуть бы руку, властно положить ее на гору, на берег и сказать:

«Стой, пока я не дойду до тебя!..»

Грустно вздыхает гулкая медь колоколов, но — я помню, что через сутки, в ночь, они грянут весело, возвещая воскресение.

Дожить бы до этого звона!..

...Семь темных фигур качались в глазах, подпрыгивая на льду; они размахивали досками, точно гребли в воздухе, а впереди их вьюном вертится старичок, похожий на Николая-чудотворца, и немолчно звенит его властный голос:

— Не зева-ай!..

Река стала шероховатой, ее живой хребет вздрагивал и извивался под ногами, напоминая о ките из «Конька-Горбунка», и все чаще из-под чешуи льда выплескивалось жидкое тело реки — мутная, холодная вода, жадно облизывая ноги людей.

Люди шли по узкой жердочке над глубоким оврагом. Тихий, зовущий плеск воды вызывал представление о бездонной глубине, о том, как бесконечно долго будет опускаться тело в эту холодную, тесную массу, как ослепнешь в

ней и замрет сердце. Вспоминались утопленники, осклизлые черепа, вздутые лица со стеклянными, выпученными глазами, растопыренные пальцы вспухших рук, отмокшая на ладонях кожа, точно тряпка...

Первым провалился под лед Мокей Будырин; он шел впереди мордвина, как всегда молчаливый, отсутствующий, шел спокойнее всех и вдруг — точно его дернули за ноги — исчез, на льду осталась только его голова и руки, вцепившиеся в доску.

— Помога-ай! — завыл Осип. — Не толпись все, один, двое — помоги!

А Мокей, отфыркиваясь, говорил мордвину и мне:

— Отойдите, парни... я сам... ничего...

Выбрался на лед и, отряхаясь, сказал:

— Пострели те горой, эдак-то, гляди, и в сам-деле потопнешь...

Теперь, щелкая зубами и облизывая большим языком мокрые усы, он особенно стал похож на большого, смирного пса.

Мимолетно вспомнилось, как он, месяц тому назад, отсек себе топором напрочь сустав большого пальца левой руки — поднял бледный обрубок с посиневшим ногтем и, разглядывая его темным взглядом непонятных глаз, виновато, тихонько говорил:

— Сколько разов я его, чудашку, портил, прямо — счету нет!.. Вывихнут он у меня, неправильно действовал... Теперь — схороню...

Тщательно завернул обрубок в стружку, положил в карман и тогда уже перевязал пораненную руку.

За ним выкупался Боев — казалось, он сам нырнул под лед и тотчас закричал неистово:

— А, б-батушки, тону, смертынька, братцыньки, дайте помощь...

Он так бился в судорогах страха, что вытащили его с трудом и в хлопотах около него едва не погиб мордвин, окунувшись с головою в воду.

— Вот попал бы к чертям ко всенощной, — выбравшись на лед и сконфуженно усмехаясь, сказал он, теперь еще более тонкий и угловатый.

Через минуту снова провалился и завизжал Боев.

— Не ори, Яшка, козлиная душа! — кричал Осип, грозя ему ватерпасом. — Нашто пугаешь людей? Я те задам! Распояшься, ребята, карманы вывороти, ловчей будет...

На каждом десятке шагов открывались, хрустя и брызгая мутной слюною, зубастые челюсти, синие острые зубы хватали ноги: казалось, река хочет всосать в себя людей, как змея всасывает лягушат. Намокшая обувь и одежда, мешая прыгать, тянули книзу; все стали скользкими, точно облизанные, неуклюжими и немыми, двигались тяжело, медленно и покорно.

Но Осип словно заранее сосчитал трещины во льду и такой же мокрый, как все, скакал зайцем со льдины на льдину; перескочит, остановится на секунду и, осматриваясь, звонко кричит:

— Гляди, как надо, эй!

Он играл с рекою: она его ловила, а он, маленький, увертывался, умея легко обмануть ее движения, обойти неожиданные западни. Казалось даже, что это он управляет ходом льда, подгоняя под ноги нам большие, прочные льдины.

— Не падай духом, божьи детки, э-эй!

— Ай да дядя Осип! — тихо восторгался мордвин. — Ну — человек!.. Это действительно — человек...

Чем ближе к берегу, тем более измельчен, истерт лед и все чаще проваливались люди. Город уже почти проплыл мимо, скоро нас вынесет на Волгу, а там лед еще не тронулся и нас подтянет под него.

— Пожалуй — потонем, — тихонько сказал мордвин, поглядывая налево в синюю муть вечера.

Но вдруг — точно пожалев нас — огромная чка уперлась концом в берег, полезла на него, ломаясь, хрустя, и встала.

— Беги-и! — яростно закричал Осип. — Валяй во всю мочь!..

Прыгнул на чку, поскользнулся, упал и, сидя на краю льдины, заплескиваемый водою, пропустил всех мимо себя — пятеро убежали на берег, толкаясь, обгоняя друг друга. Мордвин и я, остановились, желая помочь Осипу.

— Бегите, щенки свинячьи, ну!..

Лицо у него было синее и дрожало, глаза погасли, рот странно открылся.

— Вставай, дядя...

Он опустил голову.

— Ногу я сломил будто... не встать...

Мы подняли его, понесли, а он, закинув руки на шеи нам, ворчал, щелкая зубами:

— Утопнете, лешманы... ну, слава те богу, не попустил, батюшко... Глядите — троих не сдержит, шагай осторожно! Выбирай, где лед снегом не покрыт, там он тверже... бросить бы вам меня!..

Заглянул прищуренным глазом в лицо мне и спросил:

— А книжка-то грехов наших, поди, вовсе размокла у тебя, пропала, а?

Когда мы сошли с куска льдины, навалившегося на берег, раздавив в щепы какую-то барку, вся часть льда, лежавшая в воде, хрустнула и, покачиваясь, захлебываясь, поплыла.

— Ишь ты, — одобрительно сказал мордвин, — поняла дело!

Мокрые, иззябшие и веселые, мы на берегу, в толпе слободских мещан; Боев и солдат уже ругаются с ними, мы кладем Осипа на какие-то бревна, он весело кричит:

— Ребя, а книжка-то решилась, размокла ведь...

Эта книжка — точно кирпич за пазухой у меня; незаметно вынув, я швыряю ее далеко в реку, и она шлепается о темную воду, как лягушка.

Дятловы помчались в гору — в кабак за водкой, бегут, колотят друг друга кулаками и орут:

— Р-ря!

— Их ты-и!..

Высокий старик с бородою апостола и глазами вора убежденно говорит над моим ухом:

— А за то, что вы взбулгачили народ мирный, надо бы вас, анафемов, по мордам...

Боев, переобуваясь, кричит:

— Чем мы вас потревожили?

— Христиане тонут, — ворчит солдат, еще более охрипший, — а вы что делали?

— А что нам делать?

Осип лежит на земле, вытянув ногу, и, щупая полушубок дрожащими руками, жалуется тихонько:

— Ах, мать честная, как измочился... Спорчена одежда на нет... а — года не носил!..

Стал он маленький, сморщился и словно тает, лежа на земле, становясь все меньше.

Вдруг, приподнявшись, он сел, охнул и злым, высоким голосом заговорил:

— Понесли вас беси, дураков, — в баню, в церковь, вишь ты! Чертогоны!.. Туда же... Не проживет бог без вас свой праздник... На смерть наткнулись было... одежду всю спортили, чтоб вас розорвало...

Все переобувались, отжимали одежду, устало сопя, охая, переругиваясь с мещанами, а он кричал все горячее:

— На-ко, что удумали, окаянные! Баня им надобна... вот, — полицию бы, она бы вам показала баню...

Кто-то из мещан услужливо сказал:

— За полицией послано...

— Ты — что? — закричал Боев Осипу. — Ты зачем притворяешься?

— Я?

— Ты!

— Стой! Это как же?

— Кто подбил народ, чтоб идти, а?

— Кто?

— Ты!

— Я?

Осип задергался, точно в судороге, и сорвавшимся голосом повторил:

— Я-а?

— Это совсем верно, — спокойно и внятно сказал Будырин.

Мордвин тоже подтвердил, тихонько, печально:

— Ей-богу, ты, дядя Осип!.. Ты забыл...

— Конечно, ты заводчик делу, — угрюмо и веско крикнул солдат.

— За-абыл он! — яростно кричал Боев. — Как же, забыл! Нет, это он пробует, нельзя ли свою вину на чужую шею хомутом одеть, знаем мы!

Осип замолчал и, прищулив глаза, оглядел мокрых, полуодетых людей...

Потом, странно всхлипнув — смеясь или плача — дергая плечами и разводя руки, стал бормотать:

— А ведь — верно... и впрямь — моя затея-то... скажи на милость!

— То-то! — победоносно крикнул солдат.

Глядя на реку, кипевшую, как просыная каша, Осип, сморщив лицо и виновато спрятав глаза, продолжал:

— Прямо — затмение... ах ты, батюшки! И как не утонули? Даже понять нельзя... Фу ты, господи!.. Ребята... вы — того... не сердитесь, праздника ради... простите уж!.. Помутилось в уме у меня, что ли-то... Верно: я подбил... экой старый дурак...

— Ага? — сказал Боев. — А как бы я — утоп, чего бы ты говорил?

Мне казалось, что Осип искренне поражен ненужностью и безумием сделанного им, — скользкий, точно облизанный, напоминая новорожденного теленка, он сидел на земле, покачивая головою, шаря руками по песку вокруг себя, и не своим голосом все бормотал покаянные слова, ни на кого не глядя.

Я смотрел на него, думая — где же тот воевода-человек, который, идя впереди людей, заботливо, умно и властно вел их за собою?

В душу наливалась неприятная пустота, я подсел к Осипу и, желая что-то сохранить, тихо сказал ему:

— Будет тебе...

Он искоса взглянул на меня и, распутывая бороду пальцами, так же тихо молвил:

— Видал? То-то вот...

И снова заворчал громко, для всех:

— Какая штука — а?

...На вершине горы, на фоне уже потемневшего неба, стоит черная щетина деревьев, гора прилегла к берегу, точно большой зверь. Появились синие тени вечера, они выглядывали из-за крыш домов, прижавшихся к темной коже горы, точно болячки, смотрели из рыжей, влажной пасти глинистого оврага, широко разинутой на реку, — чудилось, будто она тянется к воде, чтобы выпить ее.

Река потемнела, шорох и скрежет льда стал глуше, ровнее; иногда льдина тыкалась краем в берег, как свинья рылом, минуту стояла неподвижно, покачнувшись, отрывалась, плыла дальше, а на место ее лениво вползала другая.

Быстро прибывала вода, заплескивая землю, смывая грязь, — грязь расходилась темным дымом по мутно-синей воде. В воздухе стоял странный звук — хрустело и чавкало, точно огромное животное, пожирая что-то, облизывалось длинным языком.

Из города плыл приглушенный расстоянием сладкозвучно-грустный колокольный звон.

С горы, как два веселых щенка, катились Дятловы, с бутылками в руках, а наперерез им — вдоль берега — шел серый околodочный и двое черных полицейских.

— Ах ты, господи! — стонал Осип, тихонько поглаживая колено.

Мещане, завидя полицию, раздвинулись шире, выжидаяще, примолкли, а околodочный — сухонький человечек с маленьким лицом и рыжими усами в стрелку — подошел к нам, строго говоря сиповатым, деланным баском:

— Это вы, дьяволы...

Осип опрокинулся спиной на землю и торопливо заговорил:

— Это — я, ваше благородие, я всему затейщик! Простите, праздников великих ради, ваше благородие...

— Как же ты, старый черт, — закричал околodочный, но крик его пропал, потонул в быстром потоке умильных, ласковых слов.

— Квартера у нас здесь, в городе; на том берегу ничего нам нет, и денег нет у нас на хлеб, а после завтра, ваше благородие, велик Христов день, — в баньку

надобно, на церковную службу хочется, как мы христиане, ну — я и говорю: «Айдайте, ребята, что бог даст, не по худому делу пойдем». И за продерзость наказан я, вот — ноженьку разбил вовсе...

— Да! — сурово крикнул околодочный. — Ну, а если б вы утопи — что тогда было бы?

Осип глубоко и устало передохнул:

— Что же было бы, ваше благородие? Ничего бы, чать, не было, извините...

Полицейский ругался; все слушали его молча и внимательно, точно человек не матерей оскорблял грязно и цинично, а говорил важные слова, которые всем необходимо знать и помнить.

Потом, переписав наши имена, он ушел; мы, распив жгучую водку, согретые и приободренные, стали собираться домой — Осип, усмехаясь, поглядел вслед полиции и вдруг, легко поднявшись на ноги, истово перекрестился.

— Вот и конец всему, слава тебе господи!..

— Стало быть, — изумленно и разочарованно загнузил Боев, — стало быть, нога-то — цела? Не сломал, значит?

— А тебе надо, чтоб сломал?

— Ах, — комедьян! Петрушка ты несчастный...

— Пошли, ребята! — скомандовал Осип, натягивая на голову мокрую шапку.

...Я шел рядом с ним сзади всех; он говорил мне тихонько, ласково и как бы сообщая одному ему известную тайну:

— И что ни делай, как ни кружись, ну — без хитрости, без обману — никак нельзя прожить, такая жизнь, такая она есть, пострели ее в душу... Ты бы на гору, а черт за ногу...

Темно, и во тьме вспыхивают красные, желтые огни, как бы говоря:

«Сюда идите!..»

Идем встречу звону на гору, журчат ручьи, сбегая под ноги нам, и ласковый голос Осипа утопает в их шуме:

— Ловко я полицию-то обошел! Вот как надобно дела делать — чтобы никто ничего не понял, а каждому чудилось, будто он и есть — главная пружина, да... Пускай каждый думает, будто его душа — дело совершила...

Я слушаю его речь и — плохо понимаю ее.

Да мне и не хочется понимать, в душе у меня просто и легко; я не знаю — нравится мне Осип или нет, но готов идти рядом с ним всюду, куда надобно, — хоть снова через реку, по льду, ускользящему из-под ног.

Гудят, поют колокола, и радостно думается:

«Еще сколько раз я встречу весну!..»

Осип говорит, вздыхая:

— А душа человеческая — крылата, — во сне она летает...

Крылата? Чудесно!..